



В. Д. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

К Владимиру Сергеевичу Соловьеву однажды обратился мало с ним знакомый собиратель автографов и попросил написать что-нибудь в альбом. Соловьев открыл первую страницу предисловия к своей «Истории и будущности теократии» и выписал оттуда вступительную фразу:

«Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания; показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истиною, — вот общая задача моего труда».

В этом состояла общая задача того труда покойного, которому он придавал наибольшее значение из всех своих работ; невозможность окончить этот труд по первоначально задуманному плану его всегда глубоко огорчала. Это же составляло основную цель всей его жизни. Борец по натуре, учитель по складу ума, Владимир Сергеевич и в личных отношениях неуклонно и последовательно оправдывал веру отцов. Он не был проповедником, он редко учил словом — и, быть может, поэтому его живого уже давно не окружала толпа. Он учил примером своей жизни — и потому люди близкие познали, чем был он для них, только после его смерти. Сила и степень общественного значения Соловьева также теперь только начали обнаруживаться.

Первый раз мне довелось увидеть Владимира Сергеевича лет около двадцати назад, в тот едва ли не единственный момент его жизни, когда он выступил трибуном и силой вдохновения, горячей верой в правоту своего убеждения покориł мысль не одной сотни людей.

Блестящий зал кредитного общества. Все стулья и проходы заняты. На кафедре молодой высокий философ с длинными пыш-

ными волосами, собравший громадную разнородную аудиторию... Первая лекция была прослушана с интересом, но вяло. Чувствовалось, что не для изложения хода русского просвещения в XIX веке собрал нас уже и тогда пользовавшийся громкой славой лектор. И минута была не такова. И сам Соловьев как-то безжизненно, устало отмечал главнейшие течения, их связь и преемственность развития. Вторая лекция — дня через два после первой — носила вначале тот же характер. Но вот философ закрыл тетрадь, выпрямился, окинул зал вдохновенным взором глубоко сидящих, чудных глаз и начал говорить об интересе минуты. Сперва — тихо, сдавленным, дрожащим голосом. Затем его голос стал крепнуть, послышалась нота увлечения задушевной мыслью. Аудитория насторожилась. Она жадно внимала звукам свободно лившейся речи; она была заражена волнением оратора, вместе с ним переживала его чувства. Соловьев умолк. Несколько секунд толпа безмолвствовала: смелая мысль не могла быть вдруг усвоена. Прошли эти секунды — раздался взрыв рукоплесканий. Аудитория была побеждена...

Лично я познакомился с Соловьевым лет восемь спустя. Это было в мае или июне того года, когда он выпустил «*La Russie et l'église universelle*» и приехал в Петербург повидать кого-то из своих друзей. Мы встретились случайно. Лето, как известно, сезон мертвый — кто на даче, кто за границей, кто в деревне. Да и немного еще тогда было у Владимира Сергеевича близких знакомых в Петербурге. Срочной работы он в то время тоже не имел и охотно заходил побеседовать или сыграть в шахматы. Сошлись мы — люди, резко различные по воспитанию, привычкам и всему укладу жизни, — как-то очень скоро. На следующее лето, опять приехав в Петербург, Соловьев уже поселился в моей квартире. Так началась и продолжалась много лет наша совместная жизнь в течение летних месяцев. По зимам мы вместе не жили, но виделись часто.

При столь близких отношениях, естественно, изучаешь человека во всех деталях, и мелочные повседневные наблюдения заслоняют общий образ, типические черты характера. Из-за деревьев перестаешь видеть лес. Нужно время, чтобы детали и штрихи изгладились и чтобы в воспоминаниях вырос живой общий облик. До тех пор они всегда будут иметь неизбежно эпизодический, случайный характер.

Основной чертой отношений Соловьева к людям была деятельная любовь. Та любовь не на словах, а на деле, которая составляет сущность всего христианского мировоззрения и которой так мало в современном обществе. Он любил человека как такового,

кто бы это ни был, каково бы ни было его прошлое, каковы бы ни были у него взгляды, принципы. Он любил своих друзей; любил людей, с которыми встречался мимолетно; он поднимался до любви к своим врагам — не личным, не знаю, были ли у него личные враги, — а к тем, чью деятельность считал пагубной в общественном смысле. И это не была любовь безразличия. Нет, всем известно, с каким жаром он обличал в печати людей, по его убеждению, вредных. В частных беседах он бывал еще более резок. Но за резкостью тона всегда слышалась не ненависть, а искренняя любовь к противнику, горькое сожаление о его заблуждениях. Соловьев был всегда готов забыть прошлое своего врага, сделаться его другом. За умреших врагов своего дела он молился.

За нравственной помощью, за советом к Соловьеву обращались не часто — и ему это было больно. Но за помощью материальной — к нему, бездомному бедняку, жившему исключительно тяжелым литературным трудом, — обращалось множество лиц. И профессиональные нищие, и явные пропойцы, и отставные чиновники, и разные вдовы, и учащаяся молодежь, и люди, гораздо более, чем он, обеспеченные. В этом отношении его доброта была беспредельна. Он отдавал буквально последние рубли. Не бывало денег — отдавал пальто: зимой летнее, летом зимнее; занимал, посылал по редакциям за авансом, закладывал часы. Если требовалась помощь работой, хлопотал, объезжал знакомых, а когда хлопоты не приводили ни к чему, — находил работу у себя. Его «Магомет» переписывался раз пять — тогда все к нему ходила какая-то женщина, настойчиво требовавшая переписки и писавшая с поразительной безграмотностью. Ее безграмотность, впрочем, радовала Соловьева: она выводила его из затруднения. Принесет переписчица рукопись, он увидит ошибки, посмеется, а дня через три, когда она снова явится за работой, — скажет, что ему нужен еще экземпляр, и чувствует себя спокойным на неделю или на две. Одно время у Соловьева чуть не целый год имелся на постоянном жалованье личный секретарь, которому он никак не мог придумать такого занятия, чтобы оно имело вид дела и чтобы секретарь не догадался, что он вовсе не нужен. С такой же деликатностью помогал Соловьев обычным посетителям, приходившим за подаванием. Никогда не читал нравоучений, не выспрашивал, не заставлял выворачивать душу.

Охотно жертвовавший для материальной помощи непосредственными благами жизни, Владимир Сергеевич никогда не останавливался и перед пожертвованием своим высшим, духовным

благом. Вогюэ¹ приводит такую его фразу: «Что мне до моего личного блага! Надо думать всегда о благе ближних». «Слово, — говорит Вогюэ, — чисто русское, в котором обнаружилось побуждение, общее и верующему, и нигилисту: радостное самопожертвование одного всем, до самой могилы». Да, это слово русское. Но у многих и многих оно — только слово. У Соловьева же оно воплощалось в дело. Истинно верующий, он возводил древнюю веру отцов на степень разумного сознания. Огорчить ближнего, вызвать в нем раздражение против обрядов веры и тем отвратить от ее духа и существа — было в его глазах грехом неизмеримо большим, чем самое нарушение обряда. Выражалось это во всех его поступках, включительно до мелочей. Садясь обедать и вставая из-за стола, Соловьев обыкновенно крестился. Но если он знал, что это обратит на него особое внимание присутствующих, он не крестился, хотя для себя лично сесть за стол без крестного знамения считал грехом. Как известно, он был вегетерианцем, вернее, постником в православно-монашеском смысле поста — не ел мяса. Но когда пригласившие его к обеду не знали этого или забывали, он ел и бульон, и мясной соус. На первый взгляд, такое отношение к себе могло казаться непоследовательным. В действительности же это была последовательность самая полная, только без неразумной, слепой прямолинейности. «Зачем быть педантом!» — часто говаривал покойный.

Устраняя из личных сношений педантизм, Соловьев никогда никому не навязывал своих взглядов. Ни разу мне не приходилось слышать, чтобы он уговаривал кого-либо не есть мяса или вести, как он, жизнь аскета, чуждую плотской любви, не знающую женской ласки. Приходилось не раз слышать обратное: друзья и врачи ему старались постоянно навязать обычные воззрения на жизнь, здоровье и средства его поддержания. Соловьев в таких случаях обыкновенно как бы извинялся, ссылаясь на старость, на то, что он давно уже ведет такую жизнь, что ему поздно менять свои привычки, что от мяса его организм отстал. «Лососина, — замечал он шутливо, — вполне заменяет мне дичь; осетрина — телятину; балык — ветчину». Редко, даже в дружеской беседе с маловерующими или вовсе нерелигиозными людьми, он упоминал о Боге. Бывало, только скажет иногда, желая утешить или объяснить неожиданно благополучное разрешение вопроса: «А Бог-то на что!» или: «Бог все видит!» И скажет всегда, не то смеясь, не то серьезно, но с такой глубокой верой, что мысль о Боге невольно западет в душу и самого решительного атеиста.

Любил Владимир Сергеевич оказывать материальную помощь и тогда, когда его прямо о том не просили, но когда он чувствовал, что помощь его будет приятна или доставит хотя ничтожное удовольствие. Он раздавал «на чай» так щедро, как не раздают и миллионеры. Недаром все лакеи и швейцары, где только он ни бывал, прислуга в гостиницах и ресторанах, железнодорожные артельщики, посыльные и извозчики относились к нему с особенным уважением. Меня долго смущали эти совершенно ни с чем не сообразные «на чай». Мне думалось, что не тщеславие ли заставляет Соловьева так поступать. Один раз я прямо спросил его об этом. Он объяснил свою щедрость коротко и просто: «Этот лакей или извозчик не ждет, что я ему что-нибудь дам, или ждет получить двугривенный, а я ему дам рубль — и ему будет приятно. В жизни так редки приятные неожиданности!» Чутким сердцем своим Соловьев отлично понимал, что и среди его приятелей, более или менее состоятельных, но привыкших вести счет деньгам, для многих может доставить удовольствие неожиданная возможность сберечь несколько рублей. Поэтому если только он бывал при деньгах, то всегда так устраивал, что совместный завтрак в ресторане оказывался завтраком по его приглашению, или пускался на другие хитрости, чтобы избавить приятеля от расхода.

Полная бессребренность и рядом с нею самая крайняя непрактичность создавали для Соловьева среди окружающих совершенно исключительное положение. В непрактичности с ним мог поспорить только младенец. Найти незнакомую улицу, нанять прислугу, заказать платье, купить что-либо в магазине, выстричь волосы — все эти житейские мелочи, с которыми мы справляемся не думая, автоматически, составляли для него всякий раз чуть не событие. Не умея справляться с ними, он всю жизнь оставался бездомным скитальцем по родным, знакомым и гостиницам. Отсутствие своего угла с годами стало давать себя чувствовать. Незадолго, за два, за три года, до своей смерти, Владимир Сергеевич задумал сделать опыт житья в собственной квартире. Опыт он сделал, но вышло из него нечто безобразное. Нанял он квартиру под самой крышей, за плату раза в три больше ее действительной стоимости и целую зиму прожил без мебели, спал не то на ящиках, не то на досках, сам таскал себе дрова и каждое утро ездил пить чай на Николаевский вокзал. Опыт обошелся ему дорого — и для здоровья, и для его скромного бюджета расходов на себя.

Ценивший выше всего свободу и независимость своего духа, Соловьев, и дожив до седых волос, не сделался рабом житейских

удобств, обстановки, вещей, как делаемся их рабами мы все. Кроме книг и того, что на нем бывало надето, он не имел вещей никаких. Уезжая из одного пристанища в другое, он брал с собой небольшую корзинку, куда совал нужные ему в данный момент книги и рукописи. Никогда всех своих книг он под руками не имел и только благодаря своей исключительной памяти мог обходиться без справок. Но бывали случаи, когда и память не спасала, а нужна была сама неизвестно где оставленная вещь. Чаще всего это случалось с паспортом. Паспорт и Соловьев — казалось бы, что может быть более далекого! Однако и он должен был иметь паспорт, и имел его — истрепанный указ об отставке, выданный из надлежащего присутственного места отставному коллежскому советнику Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Этот паспорт он вечно забывал и терял. Обыкновенно щедрое «на чай» отсрочивало представление паспорта в участок, Соловьев его разыскивал — и вопрос разрешался. Но один раз паспорт куда-то исчез совершенно бесследно. Соловьев приехал из другого города. Является дворник и просит дать паспорт для прописки. Соловьев смотрит в бумажник — паспорта нет, роется в корзине — тоже нет. Тогда он прибегает к своему обычному средству получить отсрочку. Дворник удаляется. Оба довольны. Дня через три дворник является вновь, получает «на чай» в двойном размере, просит паспорт поискать и удаляется. Проходят еще три дня. Опять — дворник, опять «на чай», но испытанное средство уже не действует. Дворник жалобно говорит, что больше ждать не может, что его оштрафуют, и не уходит. Соловьев в отчаянии. Ломает голову, куда он мог запропастить свой истрепанный указ, но ничего не выходит. Тогда он хватает лист бумаги и пишет: «Владимир Сергеевич Соловьев, отставной коллежский советник, был професором Петербургского университета, доктор философии, стольких-то лет, вероисповедания православного, холост, знаков отличия не имеет, под судом не находился. А если не верите, спросите таких-то», — тут он выписал полные титулы и фамилии двух своих высокопоставленных хороших знакомых. Бумага была вручена дворнику, и он ушел. Какое оказал действие этот самодельный паспорт и как он был принят в участке — осталось для Соловьева неизвестным. Но больше его на этой квартире пропиской не тревожили.

Соловьев оставил глубокий след в литературе раскрытием внутреннего противоречия между «верою наших отцов» и «местным обособлением», понимаемым в смысле узкого национализма. Никто лучше его не показал, что национализм не только не способствует укреплению веры, а, напротив, удаляет ее от веч-

ной и вселенской истины. Не существовало для него никаких перегородок между людьми — ни религиозных, ни племенных, ни сословных и экономических — и в личных отношениях. Брезгливую презрительность к людям иной религии, иной народности, иного социального положения высказывают у нас печатно только специалисты, так сказать, человеконенавистничества. Но в частной жизни все мы более или менее этим грешим. И люди средних общественных слоев и среднего достоинства, равно принадлежащие к верованиям и народностям негосподствующим, — ничуть не менее людей слоев высших, наиболее состоятельных или принадлежащих к господствующим народности и религии. Никаких намеков даже на что-либо подобное никогда в Соловьеве нельзя было подметить. Его круг знакомых поражал как численностью, так еще более своим бесконечным разнообразием. У него были искренние друзья и среди православного духовенства, и среди католических патеров, и среди правоверных евреев — и в светских гостиных, и в литературных кругах, и в приютах «бывших» людей. «Он сумел, — говорит кн. Трубецкой, — жизненно усвоить и соединить в себе веру разрозненных церквей». Он показывал, как возможно жить, с любовью относясь ко всем людям, независимо от их происхождения, веры, общественного и имущественного положения. Исповедание, народность, титул, богатство, бедность, преступное прошлое в глазах Соловьева не играли никакой роли. Со всеми он был неизменно самим собою: интресным и блестяще остроумным собеседником, добрым, любезным и деликатным человеком. Со всеми он держался ровно и просто, ни в чем не выражая своего нравственного и умственного превосходства. Всякий чувствовал его своим, чувствовал его близость к себе. Настолько он — человек непоколебимо твердых убеждений — обладал способностью понимать чужую точку зрения и отличать оболочку ближнего от его духа. Сам Соловьев всюду являлся всегда одинаково одетым — в том единственном пиджаке или сюртуке, который у него был в данную минуту, со старательно, но неумело завязанным галстуком, — одинаково оживленным или сумрачным. Избегал он бывать только в публичных местах — в театрах, на выставках — и в очень большом обществе, так как вследствие крайней близорукости терялся, путал знакомых с незнакомыми и вообще испытывал неловкость. В ранней молодости Соловьев вращался преимущественно в светских кругах, где приобрел привычку к некоторым внешним условностям. Он их соблюдал до конца дней. Но податливость в случайном споре у него никогда не переходила в угодливость, желание сказать приятное — в

лесть, и легкий разговор не обращался в лекомысленную болтовню о серьезных предметах.

Партийная обособленность также была ему неизвестна. Как в литературе, так и в жизни Соловьев стоял вне наших делений на группы. В основе всех их лежит различие политических воззрений, а для него разница этих воззрений отступала на второй план. Первое место в его глазах занимали вопросы религиозные. Религиозное «раскрепощение» — его собственное выражение — Соловьев считал ближайшей практической задачей русской жизни. Как до отмены крепостного права, часто говорил он, все остальное, сравнительно с потребностью упразднения личного рабства, было ничтожно, так в настоящий момент все интересы должны отступать перед требованием свободы вероисповеданий. Вот почему он примыкал к тем группам, на знамени которых стоит слово «свобода», — ибо свобода политическая ведет к свободе религиозной. Но в то же время отсутствие на их знамени религиозных идеалов разъединяло его с ними и сближало с представителями противоположных направлений.

Сближение Соловьева с реакционным лагерем никогда не шло, впрочем, далее формального единения. Его связывала с ним только внешняя общность идеалов. По содержанию же его религиозные воззрения были столь резко своеобразны и настолько отличались от воззрений этого лагеря, что лежавшая между ними пропасть была неизмеримо глубже той, которая отделяла его от лагеря прогрессивного. Верою Соловьева была вера отцов, но, во-первых, возведенная на новую ступень разумного сознания, во-вторых — освобожденная от оков местного обособления, в-третьих — свободная от оков народного самолюбия. С другой стороны, вера для него была центром жизни, не определяемым политическими воззрениями и потребностями, а определяющим их исходные положения. Быть средством для чего бы то ни было, иметь служебное значение в практической жизни — религия, по Соловьеву, не может и не должна. Также не совпадала по содержанию идея абсолютизма в государственном устройстве, как она рисовалась Соловьеву, с обычным о ней представлением. Она не только уживалась для него с идеей независимой личности, но прямо обуславливала и личную свободу, и свободу печати, и широкое развитие общественной самодеятельности, и равноправность племен, классов и т. д. — словом, все то, что, быть может отправляясь от других точек, признают целью своих стремлений прогрессисты. Едва ли не в одном лишь вопросе Соловьев по содержанию своих взглядов резко расходился с наиболее сродной ему группой — в вопросе о войне, отношении к которому состав-

ляет самую неясную сторону его вообще стройного учения. Когда появилась впервые его статья «Смысл войны», она вызвала всеобщее недоумение. Невольно казалось, что она навеяна исключительно желанием противодействовать теории непротивления злу и что она не имеет внутренних корней в соловьевской системе. «Три разговора» и «Повесть об антихристе» несколько выяснили, почему он так смотрел на войну, но далеко не установили полной логической связи между его основными суждениями и положительным отношением к войне.

Терпимый к чужим мнениям, поступкам и склонностям, Владимир Сергеевич к себе был чрезвычайно строг. Эта строгость, впрочем, у него не разменивалась на мелочи. Излишеств невинных, на которых сосредоточивают обыкновенно все внимание прямолинейные педанты, он не боялся. Случалось ему другой раз выпить лишний стакан вина. Не боялся он и неправду сказать в ответ на какое-нибудь приглашение или отговориться несуществующею болезнью и т. п. Его строгость к себе выражалась в развитии самообладания и в постоянном наблюдении за своими отношениями к людям. Не знаю, как он умирал, как переносил предсмертные страдания; при жизни он переносил все физические недуги с поразительной твердостью.

Все время Соловьева проходило в работе. Работал он, особенно в последние годы, с лихорадочным напряжением. Масса мыслей постоянно роилась в его голове, и он торопился их закрепить на бумаге. Но была и другая причина такой напряженной работы. Со времени продажи совместно с братьями права издания сочинений отца литературный заработок составлял для него единственный источник средств существования. На то, что он зарабатывал, другой мог бы жить без нужды, Соловьев же, при своей бессребренности и непрактичности, вечно нуждался. Отсюда — постоянные авансы и в результате — необходимость двойной работы. Поскольку недохватки в деньгах заставляли урезывать себя, Соловьев огорчался мало. К этому он относился с полным благодушием, и когда случалось спросить его, почему он отступил от той или другой своей привычки, он обыкновенно острил над собою, говоря: «Из подлой корысти». Ему было только грустно, когда в течение многих лет он не мог осуществить своей мечты — побывать в Египте, чтобы воскресить те впечатления молодости, которые им описаны в поэме «Три свидания». Побывать в Китае — что было его другой давней мечтой — ему так и не удалось.

Чрезмерность работы не отражалась у Соловьева на ее качестве. Все, что выходило из-под его пера, всегда носило следы не

одной талантливости, но и глубокой продуманности. Стоит вспомнить хотя бы мелкие его газетные статьи, приложенные к «Трем разговорам». Для здоровья же, однако, она не могла проходить безнаказанно. Как ни был вынослив слабый организм Соловьева, но и он заметно начал сдавать. Соловьеву всегда была свойственна быстрая смена настроений. Но прежде основным его настроением было оживление. Сумрачность как быстро наступала, так же быстро и проходила. В последнее же время все чаще и чаще приходилось его видеть молчаливым, углубленным в свои мысли, в каком-то устало-подавленном состоянии духа. Его раскатистый, заразительный смех стал раздаваться все реже и реже. Оживленность стала появляться мимолетно. Видно было, что человек устал. Устал в подвижнической жизни, в борьбе за свои идеалы, в борьбе с тем недугом тела, который, оказывается, уже давно подтачивал его силы.

Когда он заболел предсмертной болезнью, «врачи нашли, — пишет кн. Трубецкой, — полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию; ко всему этому примешался, по-видимому, и какой-то острый процесс, который послужил толчком к развитию болезни». Этот диагноз не мог не поразить близко знавших Соловьева своей неожиданностью. Острый процесс послужил только толчком к развитию болезни. Истощение, упадок питания — суть результаты. Склероз артерий — тоже, основная причина болезни, следовательно — цирроз почек. Но откуда он взялся и что могло его вызвать? Невольно вспомнилась привычка Соловьева употреблять скипидар, казавшаяся ему не только вполне невинной, но прямо полезной для здоровья. Внутри скипидара Соловьев никогда не принимал. Он любил его запах, считал универсальным дезинфицирующим и дезодорирующим средством и, в качестве такового, уничтожал в громадном количестве. Всевозможные бактерии и микробы были маленькой слабостью Соловьева. Он их боялся до смешного и, дабы оградить себя от них, обливал скипидаром стены, пол своей комнаты, свою постель, платье, десятки раз в день вытирал им руки и т. д.; даже в бумажник с деньгами он, случалось, наливал скипидар. Словом, он постоянно в течение более десяти лет находился в атмосфере, обильно насыщенной парами терпентинного масла, и тем постепенно, но верно отравлял свой организм. По какой-то роковой случайности губительное воздействие паров скипидара — и именно в смысле развития болезни почек — оставалось Соловьеву неизвестным. Ни ему самому, ни знавшим его привычку почему-то никогда не

приходило в голову справиться о влиянии скипидара у специалистов по фармакологии и токсикологии. Конечно, все это догадка, быть может, не вполне основательная. Но бесконечно тяжело сознавать, что в ряду причин безвременной кончины Соловьева было и роковое заблуждение.

В последний раз пришлось мне видеть облик покойного 3 августа. Это не был уже Соловьев — дух во плоти. Перед глазами лежала в гробу одна плоть — земная оболочка великого, свободного, вечного духа. Его дух уже был освобожден от оков личности, как сказал на могиле один оратор. Красивые черты дорогого лица уже были обезображены печатью смерти... Мертвенная бледность и худоба не поражали — и при жизни у него никогда не было цветущего вида. Поражало отсутствие взгляда глаз. Уже не было видно на лице мощи колоссального ума, чарующей прелести дивного сердца... Как-то не верилось, что жизнь его обрвалась, —

...что скрылся он
За грань земного кругозора².

Его отпевали в Москве, в университетской церкви. Большая церковь была наполовину пуста. По стенам и сзади стояли родные, личные друзья и знакомые, несколько литераторов и ученых, но публики, общества — не было. Оно не пришло сказать ему последнее «прости». На кладбище было еще меньше. Говорят — лето тому причиной. Не думаю. Не понимали мы Соловьева, чужд он был нам, как чужда нам вера, свободная или не свободная от местного обособления и народного самолюбия — все равно!..

Но венков возложено было много. На лентах одного виднелось: «Какой великий ум угас, какое сердце биться перестало!»³ На другом: «Всечеловеку». Да, это был всечеловек, одинаково любивший и христианина, и еврея, и магометанина, — одинаково болевший за всех людей...

